

ЮРИЙ НАГИБИН: Я РАССТЕГНУЛ ВСЕ ПУГОВИЦЫ...

В ПРЕДСМЕРТНОЙ КНИГЕ СОВЕТСКИЙ КЛАССИК И ВЕЧНЫЙ КОНФОРМИСТ
СКАЗАЛ ВСЮ ПРАВДУ О СЕБЕ



Б

«Быть честным и остаться в живых — это почти невозможно...»

М-да, господа! Перечтите слова. Что же это? Пощечина нам, напущение или все-таки — приговор? Ведь и пожать хочется еще, да и честным остаться при этом... Но сама мысль эта, высказанная когда-то Дж. Оруэллом, уже много лет не дает мне покоя.

Конечно, это — приговор! Или — или. Особенно для художника. Я понял это, узнав поразительный факт. Оказывается, Нагибин, куда как известный писатель, самую честную книгу свою при жизни так и не увидел. Сдал в издательство и чуть не в тот же день умер.



*1,2
Юрий Маркович
Нагибин и его дневники

Собирается еще писать и писать, но лег захрепнуть в своем коттедже и — не проснулся...

Во сне, говорят, умирают счастливые. Но после знакомства с его «Дневником» жизнь Нагибина трудно назвать счастливой. Да, все считали его — красавца, таланта, богача и многоженца, весельчака и жизнелюба, эдакого первого «советского плейбоя» — именно счастливым. Ему завидовали, искали с ним дружбу, в него с легу влюблялись женщины и даже эрдели его, собаки, не чаяли в нем души. И никто даже не догадывался: он прожил как бы две жизни — одну как на сцене или в кино, и вторую, может самую драматичную — тайную.

«Танцуй, мальчик!»
(Армянский пер., 9/1/1)

Его не хотела сама жизнь, а он — родился. Мать, забеременев им и узнав, что муж ее, дворянин Кирилл Нагибин, в том же 1920-м был расстрелян как участник белого мятежа, всеми силами пыталась избавиться от плода. «Я со всех акафов прыгала, чтобы случился выкидыш, — признавалась потом, — но сын все равно родился...» Правда, почти всю жизнь прожил не «Кириллычем», а — «Марковичем». И не русским по крови, о чем, как и о настоящем отце своем узнал позднее, а — полуевреем.

Родился в огромном доме на Армянском, на третьем, тогда еще последнем этаже, в коммуналке «с длинным коленчатым коридором». Мать его, Ксения Каневская, «красавица невероятная», дабы скрыть дворянское происхождение сына, дала мальчонке отчество второго мужа, адвоката Марса Левентала. А когда в 1927-м и за ним пришли чекисты, она, обожавшая Юру «до невозможности», связала свою жизнь с третьим — писателем Яковом Рыкачевым.

Его тоже арестуют в 1937-м. Но именно он оказывает влияние на писательскую будущность Юрия Нагибина.

Дом этот и детство свое на Чистых прудах писатель описывает со всех сторон. «Я гордился своим большим домом», — напишет незадолго до смерти. Дом был построен за полвека до его



рождения для купца Торопова, но знал ли Нагибин, интересовавшийся позже «московской стариной», что на месте дома его в «мохнатые времена», в 1650-е годы, стояли палаты боярина Артамона Матвеева, где жила его бедная родственница Наталья Нарышкина, с которой как раз здесь познакомился ее будущий муж, царь Алексей Михайлович, от будущего брака с которым и появится на свет Петр I?..



ВСЕ СЧИТАЛИ ЕГО СЧАСТЛИВЧИКОМ. И НИКТО НЕ ДОГАДЫВАЛСЯ: ОН ПРОЖИЛ КАК БЫ ДВЕ ЖИЗНИ — ОДНУ КАК НА СЦЕНЕ ИЛИ В КИНО И ВТОРУЮ, МОЖЕТ, САМУЮ ДРАМАТИЧНУЮ — ТАЙНУЮ



*3
Отец писателя
Кирилл Нагибин.

*4
Мать Ксения Алексеевна
на с сыном Юрием.

*5
Армянский пер., 9/1/1.

Уже в 1917-м это здание станет «Домом печатника», ибо его займет «штаб революционных рабочих-печатников», а через несколько лет все 705 жильцов явочным порядком узнают, что они живут в «доме-коммуне ОГПУ». Кстати, «социальное взросление» будущего классика началось с необычного подвала этого дома, где от «старого режима» сохранились винные погреба, отсюда пацаны «тырили» пустую тару. Наш же герой вытащил оттуда целый ящик. Хотел, сдать бутылки, закупить портретов классиков марксизма-ленинизма, украсить ими школу и — «быстрее попасть в пионеры». Увы, более ушлые «кандидаты в пионеры» опередили его: потащили в утиль и утюги, и серебряные ложки. А когда дело вскрылось, то от пионеров отлучили как раз Юру, да еще с напутствием: «Танцуй, мальчик, отсюда!».

Чистые пруды, юность, молодость, война. «Чудо первого скольжения на коньках, когда «снегурочки» становятся вдруг послушными, и ты обретаешь крылья, — напишет о детстве, — первая горушка, которую ты одолел на лыжах, первый дом из глины, вылепленный твоими руками». Чудо — школьная любовь к Нинке Варакиной и ревность девочки из соседнего подъезда, и первый друг, и первая драка, и пер-





ПОКАЗНАЯ УДАЛЬ, ГУСАРСТВО, РОЛЬ ПОБЕДИТЕЛЯ (ВСПОМНИМ ХОТЯ БЫ ЕГО СЦЕНАРИЙ «ГАРДЕМАРИНОВ»), И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ «ЧУЖАК», «ИЗГОЙ», «БАРИН», «БУРЖУЙ». ВОТ НАЧАЛО РАЗДВОЕНИЯ ЕГО...



вый гол в ворота (тренер «Локомотива» скоро пообещает ввести его в дубль столичной команды), и мечты о работе в угрозыске — всё это было! Показная удаля, гусарство, роль победителя, которую напыливал на себя (недаром последними его киносценариями станут всем известные ныне «Гардемарины») и в то же время — «чужак», «изгой», «барин», «буржуй».

Вот начало раздвоения его. Танцуй теперь, мальчик, если сможешь!..

Дома мать, потомственная аристократка, день и ночь двумя пальцами барабанившая по «Ундервуду», чтобы заработать на жизнь, но всех вокруг называвшая «холуями»; отец Марк, по-домашнему Мара, «незадачливый биржевик» (ему они будут носить передачи на Лубянку) и он сам — кто, как и мать, презирал «холуйское стадо» одноклассников. «Тот — глист, извивающийся под фуражкой, те — стрижены от вшей; в чиряках и прыщах пролетарские дети деревенского вида», они все — ему «чужаи раньше, чем он им чуж, и, мнится ему, что всё разъяснилось, когда кто-то из них назвал его «жидом». «С чем можно сравнить страдания, которые причинила мне моя недорусскость?! — возопит в конце жизни. — Вот трагедия: быть русским и отбрасывать еврейскую тень...»

Да второй (а вообще-то третий) муж матери тоже оказался евреем — писатель Яков Рыкачев (Шихман). Именно он давил, «толкал» его к писательству, пока юноша и сам не пристрастился к нему (это ж — новое чудо: преобразовать и себя, и жизнь в слово!), но семья решила: ему надо поступать (это же практично!) в Первый мед. Поступил, но почти сразу сбежал (кровь и морг отвратили) на сценарный во ВГИК. И тогда же, в 1939-м, поперся «в наглуую» в ЦДЛ, где на каком-то вечере прочел рассказ, как 17-летний парень домогался любви взрослой женщины.

*6

Отчим Марк Левенталь.

*7

Мать с третьим мужем Яковом Рыкачевым.

*8

Маша Асмус.



Рассказ разругали, но вступился Катаев, председатель вечера, да вошедший Олеша поддержал: «А рассказ-то хороший...» В итоге два московских журнала сразу напечатали рассказы «Двойная ошибка» и «Югут». Вот вам за «чужака»! Но о биологическом отце молчал уже наглухо, даже начал испытывать к нему, расстрелянному, некое отторжение.

Позже, опровергая как бы и собственное рождение, цинично бросит: «Не мог что ли гондон надеть?!»

А так всё было хорошо, даже отлично: литература, споры, новые друзья, даже первая жена — Маша Асмус, дочь философа, профессора Литинститута, которую «отбил» у поклонников. Но — война. И когда ВГИК эвакуировали в Казахстан, его мать — все-таки дворянка! — нервно покусывая губы, вдруг сказала: «Ты не находишь, что Алма-Ата несколько далека от тех мест, где решаются судьбы человечества?..»

И он пошел в военкомат! Тоже — кровь. Ведь в душе он, молодой честолюбец, видимо, уже тогда считал себя как бы сыном Достоевского и братом Чехова — так, вслед за критиком Аннинским, скажет о себе потом.

«Заблудившийся человек».
(Подколокольный пер., 13/5)

Ну-ка, попробовал бы кто назвать его «заблудившимся»? Получил бы по полной! Но так сказал после кончины писателя его биограф Юрий Куваддин, тот, кто не только взял в 1994-м из рук Нагибина рукопись «Дневника», но и первым напечатал эту «бомбу» (его слово!). Куваддин выразился прямо: Нагибин «как в дремучем лесу, заблудился в своем родстве, в женах, в пристрастиях, в своих валегах и падениях, в друзьях и знакомых, даже и



своих бесчисленных собаках!.. Это какой-то необъяснимый феномен!.. Тут не то что комплексами обзаведешься, тут шизофреником станешь!..»

Нет, шизофреником наш «аристократ» не стал — стал клаустрофобом. Это не фигура речи, он натурально боялся закрытых пространств: подвалов, гrotов, даже купе в вагонах. Просто на фронте его дважды заваливало землей от взрывов, а после второй контузии и возникла эта болезнь. Он, золотой медалист, прилично знал немецкий, и его отправили в «7-й отдел» Захвостовского фронта — контрпропаганда. Ездил на передовую в «радиопередвижке», сбрасывал с воздуха листовки. Был свидетелем трагедии 2-й Ударной армии, окружения и пленения генерала Власова, но комиссовали его, когда с парашютом фашистской «рамы» в небе прилетел над второй разрыв. Контузия, белый билет, Москва и не просто клаустрофобия, но и какой-то странный тик, когда рука его непроизвольно вымахивала и совершала нечто, похожее на крестное.



Нет, нет, в Бога не уверовал, напротив, бешено закрутился в водовороте, пусть и военной, но столичной жизни. Хотел взять инвалидность, да мать сказала: «Попробуй жить как здоровый человек». И он — попробовал. И то сказать: если клаустрофобия — боязнь закрытых пространств, значит, открытые пространства — это, считайте, сама жизнь. А он, авантюриный и рискованый, ее-то как раз и любил! Редкие поездки на фронт уже в качестве военкора «Труда», вхождение в большую литературу (с Андреем Платоновым, другом семьи, даже ездил на могилку сына его, где тихо распи-



ОН БОЯЛСЯ ЗАКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ: ПОДВАЛОВ, ГРОТОВ, ДАЖЕ КУПЕ В ВАГОНАХ. ПРОСТО НА ФРОНТЕ ЕГО ДВАЖДЫ ЗАВАЛИВАЛО ЗЕМЛЕЙ, ПОСЛЕ ВТОРОЙ КОНТУЗИИ И ВОЗНИКЛА ЭТА БОЛЕЗНЬ



*9
Добровольцы
1941 года.

*10
Ю. Нагибин.
Человек с фронта.

*11
Подколокольный пер...
13/5.

*12
Валентина Лихачева.

вал «четвертинку»), работа над первой книжкой (1943), ну и, конечно, женщины — легкая возможность прорваться уже не в литературу даже — в «большой свет». Какая уж тут клаустрофобия, если он — «жизнилюб», «певбой», «гувяка», картавивший от рождения — пустился во все тяжкое.

Жить стал в Подколокольном переулке, где развелся с Машей Асмус и почти сразу женился на дочери Лихачёва, директора автозавода им. Сталина, члена ЦК, министра, крупнейшей фигуры военной Москвы. Вот когда он, 23-летний «Печорин» (а так его, интеллигента, читавшего Гете в подлиннике, «черного романтика» и «нового Тургенева» еще назовут), схватил удачу «за бороду». Беззаботно, почти танцуя, сразу ворвался «в круг советских бона» — от маршалов до министров! — в «жизнь разгульную, залитую вином». «Жил я размахисто!» — уместится потом. А от «номенклатуры» не оставит живого места, опишет и «жадный расхват» ношеного американского тряпья, и дикую грубость широк, шуток теста и его синонимных гостей, «бренчавших орденами, как коровье стадо колокольчиками».

Женитьба его, конечно, была расчетом. А что? Дворяне во все времена женились на высоких чинах, богатстве невест, родовитости... Пусть Валя, жена, была и не ровня ему. Знакомая, знавшая их, заметит: «Валька была чудовищем! Хамски-плебейского вида, да еще и некрасива. Нивские наряды не могли это скрыть...» Зато хороша была ее мать — «золотая моя теща!» — с которой он закрутил такой роман, что потом не сможет и вспомнить: шла ли еще война в те дни или уже кончилась. Тайна, удаль, романтика! И в «Доме на набережной», и на подмосковной даче тестя, к которому, как к любому начальству, относился с «ненавистью, презрением и почтением», он и кропал статейки «об очередных победах нашего оружия», и — кормил



«с руки» страсть свою. В повести «Моя золотая теща», опубликованной, когда стало можно, «со вкусом» все и описал. Тут и «округлая дароносца живота» (тещи), и «опаловое ущелье с живым, будто дышащим кратером» и как он, смеясь, сперва «накалывал ее через потолок (совокупляясь с женою на 2-м этаже) на раскаленный шампур страсти».

Рухнуло все в 1948-м: «с позором, под улюлюканье, насмешки, презрение, — запишет, — кончился пятилетний период моей жизни». Говорили, что, спасаясь от лихаческой ярости, выпрыгнул в окно в одних трусах. Прямо как в бестселлерах: то ли мушкетер, то ли — гусар...

«Хочется марать много»
(Нащокинский пер., 3-5,
Лаврушинский пер., 17
и ул. Черняховского, 4)

Потом будут эти три дома (все — «писательские») и еще четыре брака — (Елена Черноусова, эстрадница Ада Паратова, поэтесса Белла Ахмадулина и переводчица Алла Колясина). Но он, и впрямь «заблудившийся», будет блудить и баснословно в жизни, и — многословно в книгах. Сам опишет кутежи, скандалы и драки в ЦДЛ: «близкая тяжесть удара», «лежачего не бьют? чепуха» — и бьет упавшего каблуком в ребро»...

Орудал, сказавший о «честности» писателя, выдавал за день работы не больше 3 страниц. А наш «герой» выступовал на «Эрике» по 15–20 страниц, а книгу в 10 печатных листов мог сварганить за 10 дней — даром, что не мог потом точно и подсчитать их. Нарочитое многословие, «листаж» и... рублики. И все жанры — городская проза, деревенская, военная, историческая, охотничьи и детективные рассказы, рассказы для детей и даже сказки. И ведь больше 40 фильмов, где среди большинства халтурных — и знаменитый «Председатель» с Ульяновым (за одну сцену из него Ентушенко встал перед ним на колени!), и «Директор», на съемках которого погиб Урбанский, и «Красная палатка», и даже получивший «Оскар» «Дерсу Узала».

Остальное сам назвал «халтурой», которая может и была на уровне «советской литературы», но истинную цену он ей знал. Не очень-то и заморачивался с этим, прямо говорил, что пишет ради возвышения над «холуями», барской жизни, погони за антиквариатом, машиной, роскошной дачей, двумя поварами, садовником, сменными личными шоферами и пикарными приемами с икрой, осетриной, коньяком.

«Мой отец — Достоевский» — помните его слова? А значит: «Все прочие существа, вылезшие из женского лона, мне малоинтересны. Они начинают меня интересовать, только когда их жизнь перекладывается в Слово, в знаок». И цинично добавлял: «Стоит подумать, как бездарно, холодно, дрянно исписанные листки могут превратиться в чудесный кусок кожи на каучуке, так краси-

во облегающий ногу, или в кусок отличнейшей шерсти, в котором невольно начинаешь себя утешать... тогда... хочется марать много, много...»

И марал.

После войны — за Сталина, за колхозы, потом и всегда — за «родную советскую власть», которую истою ненавидел с рождения. Марал, угодиная, скрутяя углы. И до слезы хохотал



* 13
Ю. Пименов. Новая
Москва. 1960 год.

застольях, как не хотели печатать в «Литературке» его статью о колхозе «Шлях Ленина», требую «конца» ее. «Звонил, — захлебывался смехом, — сам Симонов, прекрасный-де материал, колхоз электрифицирован, а дать не можем, нет конца. Я психанул, говорю, ладно, диктую и — заорал: «Шляхом Ленина, дорогой Сталина колхоз идет коммунизм!» — Слышу оттуда — «Гениально!»»

Все понимал. Да и я понимаю его. Ну чем плох фильм «Верные друзья» его ближайшего друга тогда Александра Галича? Чем плох «Председатель» Нагибина? Их и сейчас крутят по ТВ.



* 14
Дом в Нащокинском
переулке, 3
перед сносом.

А ведь «Председателя» власти запретили на целый год, из-за чего Нагибин схватил первый инфаркт, а потом, вдруг дали Ленинскую премию... Ельнову — не ему. Вот это вот — «недодано»! — свербило душу «сыну Достоевского». Но втайне, в минуты откровения с собой, гораздо более мучило главное: знание самой важной правды и — невозможность высказать ее.



ОН, КОНЕЧНО, ПОНИМАЛ, КАК ТРУДНО НАПИСАТЬ ВЕЩЬ, ЗА КОТОРУЮ ОТВЕТИШЬ ЖИЗНЬЮ. ПОПРОБОВАЛ, НАПИСАЛ. НО ЗАКОНЧИВ ЕЕ ЕЩЕ В 1950-х, ВЫШЕЛ В САД И... ЗАКОПАЛ РУКОПИСЬ



Невозможность или все-таки — нежелание? Ведь знал и о трагедии Платонова, и об Ахматовой, и о современниках Шаламове, Домбровском, Солженицыне.

И уж, конечно, понимал: нетрудно впервые «пустить в литературу» слова «трахаться» или «кастурбация», трудно написать вещь, за которую ответишь жизнью.

Он попробовал, написал. Но, закончив ее еще в 1950-х, вышел в сад и... закопал рукопись! На 30 лет закопал повесть «Встань и иди» — о репрессиях, о приемном отце — о Марке Левентале,

* 15, 16

Афиша и кадр из знаменитого фильма «Председатель».

* 17

Обложки книг Юрия Нагибина.

* 18

Лаврушинский пер., 17.

* 19

Ул. Черняховского, 4.



умершем в 1952-м, в ссылке, в далекой Кохме, куда ездил. «Моя жизнь, — шепнул жене, — будет прожита нормально, если я напечатаю эту повесть. Я выполню свое предназначение. Все остальное во мне — дрянь, мелочь...»

...И? — спросите. И, думаю, тут же вставил в «Эрику» очередной лист хатыры.

Ностальгия по настоящему
(ул. Черняховского, 4)

Когда-то, тоже в «мохнатые времена», в 1880 году, царский сановник и тайный советник (что-то «по рангу» вроде члена ЦК Лихачева), привел к Достоевскому своего сына, пишущего стишки. Диму Мережковского, кстати, не слабому прозаику, номинанту Нобелевки. Привел, дабы узнать: будет ли из сына «только»? Клас-



сик послушал мальчика и изрек: «Вы пишете пустяки. Чтобы быть литератором, надо прежде страдать, быть готовым на страдания...»

Вот, думаю, чего не хватало нашему «сыну Достоевского».

Страдал ли он? Да, но как все мы: от любви, предательства, зависти соперников и уж совсем от пустяков. Но не за правду, не за ту честность, цена которой сама жизнь.

Понимал ли это «рафина» Нагибин? Разумеется. Еще в 1955-м записал в дневнике: «Я все время хотел почувствовать себя настоящим. Все



мое существование наполнено было ложью, я никогда не страдал по-настоящему. Я натравливал себя на страдание, я играл... в признательность, в жалость, в любовь, но всегда во мне оставался нерастворимый осадок». И, ощущая его в себе, он тем не менее глушил в себе эту правду, топил в водке, в бравых гулянках, в выездах со свитой на охоту, в манящей «загранке». Что говорить, боготворивший его Кувалдин вздохнул: он «действительно был раздвоен, как Голдзон у Достоевского: на поверхности одно, а внутри совершенно другое».

«Двоение Нагибина» — назвал свое эссе о нем и Солженицын. Эх, если бы? Не раздвоенность — расчлененность раздирала его. Жизнь на сцене, и жизнь в себе, писанина в правый ящик стола (для издательства) и нечто тайное, под ключ — в левый... Так стиралась личность красивого, одаренного, сильного физически и остроумного человека.

Так превращался Нагибин в «Нагибона», как звали его уже.

Виктория Токарева, писательница, увидев его, ахнула: «Он отличался от всего писательского поголовья». Он собрал на даче всех своих жен. «Их штук пять, — пишет она. — Здесь же последняя жена Беллочка. Она создала красивые бутерброды, сверху каждого — зеленый кружок свежего огурца. Время от времени одна из жен выскакивает из-за стола и бежит на кухню рыдать... Можно понять. Все остальные мужчины рядом с Нагибиным — серые и тусклые». И конечно, эрдель



*20

Д. Давыдов,
Б. Ахмадулина, М. Гасс,
Ю. Нагибин, Б. Гасс.

*21

С Беллой Ахмадулиной.

его рядом, ему дают бутерброд, но чаще он берет его сам, прямо с тарелок. «Я поражаюсь, — замечает Токарева. — В моем понимании прежние жены в гости к ушедшему мужу не ходят. И собаки знают свое место... Но у Нагибина можно все, не существует никаких запретов...»

Тут все правда, кроме одного: «Беллочка» — поэтесса Ахмадулина — не последняя, предпоследняя жена «Синей бороды», как, хихикая, звали за глаза его, многоженца. Но в их ряду и для него она — первая. «Его изумило открытие, — скажет потом Елизавета, дочь Беллы от следующего мужа, — что можно так ощущать и познать мир...»

Какая, казалось бы, пара! Крупнейший прозаик (а талант его признали Аксенов, Гладilin, Палич, Евтушенко, Вознесенский, Окуджава) и — крупнейший поэт. Дивная любовь! И что же? Он, прожив с ней 8 лет, крикнет «Вон из моего дома!» и запишет в «Дневнике»: «Ты распутна, за тобой тянется шлейф, как за усталой шляхой... Ты недобра, коварна, мстительна и совсем не сентиментальна, хотя великолепно умеешь играть беззащитную растроганность». А она, его первая — все-таки первая настоящая любовь, кинет на прощанье: «Паршивая советская сволочь!»

Каково?!

А ведь как любились! Словно знали друг друга даже до рождения Христа. «И мы увиделись. Ты вышел из дверей. Всё кончилось. Всё начиналось снова, — напишет ему в стихах. — До этого не зачислялось дней, как накануне Рождества Христова». Да и о счастье своем писали почти схожими метафорами. «Мы любили, — скажет он, — с таким доверием и близостью, словно родили друг друга». А она, «шаровая молния» его, напишет даже приметей: «В Юрином тепле я примостилась в тот уют, из которого я вырвалась при рождении...»

Он преклонялся, молился на нее. Это ее защита, послал насмешника на пол в ЦДЛ — помните «блаженную тяжесть удара» его? Любил. Но понимал: уже он ей не ровня. Сразу признал свою «вторость». Заметьте — в творчестве! Его изумила как раз та честность, когда на карту ставишь жизнь. Честность, о которой он лишь мечтал.



ОН ПРЕКЛОНЯЛСЯ, МОЛИЛСЯ НА БЕЛЛУ. ЛЮБИЛ. НО ПОНИМАЛ: УЖЕ ОН ЕЙ НЕ РОВНЯ. СРАЗУ ПРИЗНАЛ СВОЮ «ВТОРОСТЬ». ЕГО ИЗУМИЛА КАК РАЗ ТА ЧЕСТНОСТЬ, О КОТОРОЙ ОН ЛИШЬ МЕЧТАЛ





«Я расстегнул все пуговицы»

Сгубили их рай и ад жизни. Загулы, повальное пьянство (как заметит его мать, «уезжают два красавца, приезжают две свиньи») и ощущение, что им — все можно. Ведь из их котеджа сбежал в ночь Бродский, так хотевший познакомиться с Беллой.

«Ужин нас ждал роскошный, — вспомнит Найман, поэт. — Хрусталь, фарфор, серебро; водки, бифштексы, зелень, антикварный стол, за которым ели... Дальше было безобразие... просто пьянство... какие-то выкрики, гримасы, какие-то персики, сок которых течет тебе в рукав... Нас отвели в спальню, где стояла широченная кровать... Я проснулся, потому что Бродский настойчиво меня будил. Горела люстра... Сказал, что не может оставаться в доме больше ни минуты, пошли. Я спросил, который час. Полтретьего... Мы оделись и вышли в открытый космос. Мотаясь и застревая в сугробах, чудом добрали до шоссе. Одиноким грузовик подхватил нас...»

Богема не выдержала богемы! И главное: если Белле для стихов нужен был лишь клочок бумаги, то ему, педанту, нужен был распорядок. «Вставал в 7, делал зарядку, — запишет Алла, последняя жена, — в 8 на столе должен был стоять легкий завтрак: геркулесовая каша, три штучки кураги, два расколотых грецких ореха и чашка кофе. Если это было готово в четверть девятого, сердился. Если обед запаздывал — рвал и метал...» И так — 26 последних лет. Рвал и метал домашних, чтобы... Чтобы «рвать и метать» в «Дневнике» — «гениальной книге», по словам Кувадина, от которой к старости из глаз писателя ушел не только цвет, они стали, сказал, «как бумажные»...

«Я расстегнул все пуговицы!» — равкнул, передавая рукопись. Вот, дескать, вам за «чужака» и «изгой».

Всех измордовал — как «каблуком под ребро»! Евтушенко, «позер и ломик», не добр, а «весь пропитан злобой», Булат «не удовлетворен, замкнут и черств», Галич, друг, умер не

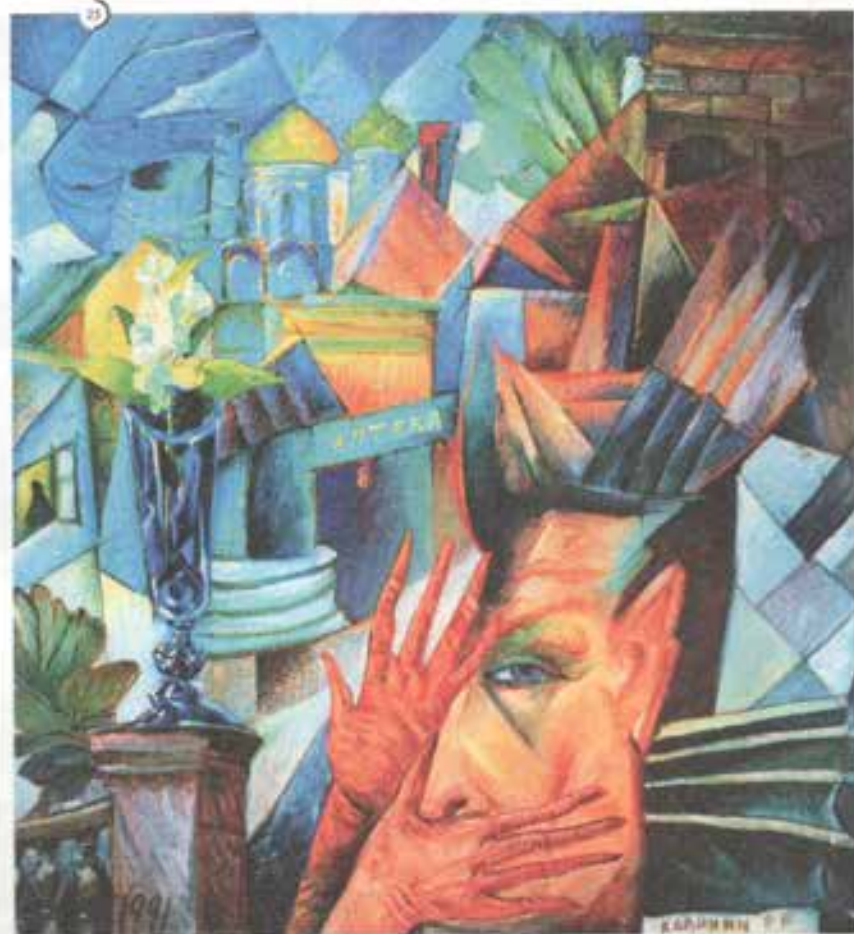
*22
Алла Нагибина.

от инфарктов, нет, а «от повышения дозы морфия», редколлегия журнала, куда входил одно время, — «вонь носков, невымытых тел, перегара». А остальные (через страницу): холуи, люмпены, холопы, сброд и быдло, совки и охлос. И — через каждую страницу жалобы («не пустили в Данию», «тнут с фильмом»), хвастовство («увел даму, побил мужа, съел бифштекс») и вечный плач («Не дано, недодано, обошли»).

«Несчастный человек, — скажет драматург Зорин. — Без всяких одежек его жизнь предстала значительно мельче, чем даже казалась». Но главное слово, выловленное уже мной — «вакуум». Жил в вакууме. «Мне не хватает воздуха...». Помните, он, клаустрофоб, любил открытые пространства, жизнь? Теперь сама она стала вакуумом, где задышался.

И — задохнулся...

*23
В. Калинин.
Король с Никитской.
1981 год.



На похоронах его не было ни одного писателя, один киношник. На Новодевичьем жена Алла поставила памятник «по собственному эскизу», на доме в Армянском в 2018 году повесили доску. Но был ли он счастлив, когда, наконец, высказался вполне?

«Я думаю, писатель и счастье — сказала Алла, — понятия несовместимые. Из счастья ничего не рождается... Просто он расплывался с прошлым теми словами, которых оно заслуживало... Может, этот долг — и держал его. А сказал — и умер...» Так ли это? Увы. Сам писатель успел выкрикнуть, что жизнь его «заслуживает одобрения лишь как черновик. Набело я прожил бы ее иначе...» Считайте, зачеркнул этой фразой не только прожитое, но и самое честное о себе — «Дневник».